К. О. ГУСАРОВА

Гусарова Ксения Олеговна
кандидат культурологии
старший научный сотрудник,
Институт высших гуманитарных исследований,
Российский государственный гуманитарный университет
Россия, ГСП-3, 125993, Москва, Миусская пл., д. 6
Тел.: +7 (495) 250-66-68
доцент,
кафедра культурологии и социальной коммуникации, РАНХиГС
Россия, 119571, Москва, пр-т Вернадского, д. 82
Тел.: +7 (499) 956-99-99
E-mail: kgusarova@gmail.com

Мода на историю: прошлое на страницах «Модного магазина»[1]

Аннотация. В статье рассматривается репрезентация исторического времени и событий прошлого в «Модном магазине» — одном из наиболее популярных журналов для женщин в Российской империи 1860-х годов. Наряду с историческими очерками и мемуарами в фокусе внимания оказывается широкий жанровый спектр текстов: от модной колонки главного редактора С. Г. Мей до публицистики, посвященной женскому вопросу. Вдохновленные реформами начала 1860-х годов, редколлегия и авторы «Модного магазина» ратовали за расширение гражданских прав женщин, апеллируя к логике исторического прогресса. В то же время фигура эмансипе выступала в журнале объектом резкой критики и сатиры как антитеза идее женственности, неотъемлемыми составляющими которой были элегантность и хороший вкус. Не только представления о женственности, но и понимание истории на страницах «Модного магазина» было напрямую связано с модой: смена модных силуэтов являла наглядный образ хода времени, позволяя осмыслить нововведения как историческую закономерность и наделить их значимостью. В статье показывается, каким образом авторы «Модного магазина» использовали отсылки к прошлому в попытках выработать идеал женственности, одновременно закрепляя за женщинами место в истории. Занять это место призвана была женщина-читательница: исторические персонажи, показанные читающими исторические книги, предоставляли аудитории журнала модель для самоидентификации и эмоциональные образцы реакции на прочитанное.

[1] Статья отражает результаты исследования, проводившегося в рамках НИР «Фигуры умолчания в историческом воображении XVII–XIX веков» ШАГИ РАНХиГС (2017).

© К. О. ГУСАРОВА DOI: 10.22394/2412-9410-2018-4-3-166-194

Ключевые слова: историческое воображение, «Модный магазин», женское чтение, женский вопрос, конструкции гендера, дискурс моды, 1860-е годы в России

В одном из первых номеров «Модного магазина» парижский корреспондент журнала с некоторым запозданием сообщал российским читателям подробности празднования Нового года в столице элегантности:

> В нынешний новый год, как и всегда, дарились конфетами и заключали их в сельские корзинки, наполненные цветами и мохом; чтобы отведать конфетку, надо было сорвать или розу или кустик фиалок, сделанных из лент, что теперь в такой моде [Z. 1862: 66].

Такого рода пассажи, которыми изобилуют и фельетоны, и, естественно, модная колонка журнала, образуют своего рода учебник модного потребления, причем потребляемыми оказываются в первую очередь не товары, а способы рассказывания о них: дискурс оборачивает объекты желания, подобно декоративной ленте в этой цитате, принимая любую привлекательную форму.

Однако в данном конкретном примере прелестная зарисовка «красивой жизни» обрамляется довольно неожиданно: автор признает тривиальность своего предмета и в то же время спешит наделить его значимостью, выходящей за пределы сиюминутного торжества моды и «денежной культуры»[2]. Он пишет:

> Вы не должны укорять меня за то, что я останавливаюсь на таких подробностях: я это делаю с известной мне целью — у меня в виду будущность. Быть может, внучка моей юной читательницы прочтет с любопытством эти мелочи: они становятся дороги, когда время отдалит от нас какую-нибудь эпоху, потому что история представляет нам ее в официальном виде, а любопытство заставляет нас дополнять исторические личности изучением вкусов и обычаев того времени [Там же].

Таким образом, текст демонстрирует обостренное ощущение хода времени и специфического места текущего момента в истории. Настоящее оказывается непременно соотнесено с прошлым и будущим и само может быть увидено как минувшее — с исторической дистанции.

Кроме того, вводится противопоставление официальной и неофициальной истории, причем первая предстает неполной и нуждающейся в дописывании. Конструирующиеся таким образом лакуны заполняются мельчайшими приметами быта, ни одна из которых уже не кажется ничтожной, ибо обретает значение симптома, выражающего дух времени. Тем самым открывается дискурсивное пространство для наделения ценностью и эстетизации банального — пространство, где снимаются или переворачиваются привычные иерархии («обычаи времени» не менее важны, чем «исторические личности»).

[2] Мы отсылаем к термину Торстейна Веблена [1984].

Из современной перспективы этот новый объект интереса, или «любопытства», может быть описан как «повседневность». В значительной степени он пересекается со сферой домашнего быта и женского опыта, и характерно, что увлеченных данной темой читателей будущего фельетонист также представляет себе в женском роде. С одной стороны, можно сказать, что новое понимание истории отводит больше места женщинам как потенциальным адресатам исторического повествования и его действующим лицам. С другой стороны, очевидно, что введение подобной «истории для женщин» закрепляет гендерные различия, способствуя дальнейшей тривиализации женских интересов и занятий.

Однако в цитируемом тексте недвусмысленная феминизация читателей, настоящих и будущих, вероятно, связана с тем, как понимается адресация журнала в целом[3]. В то же время со второй четверти XIX в. бытовые подробности начинают играть все более важную роль в европейской литературе, от физиологического очерка до реалистического романа, а также становятся предметом исторической рефлексии в текстах, не имеющих очевидной гендерной ориентации и даже обращенных скорее к мужской аудитории. Так, в 1845 г. Жюль Барбе Д'Оревильи публикует биографию Джорджа Браммелла, где рассуждение о повседневных привычках знаменитого денди становится основанием для философских обобщений. В предисловии к трактату автор противопоставляет «политическую историю» истории «более высокой, более общей и более сложной для написания — истории английских нравов», отдавая однозначное предпочтение последней, «так как политическая история не отражает всех нюансов общественной жизни, а все они заслуживают изучения» [Barbey D'Aurevilly 1845]. Таким образом, представление о неполноте официальной, политической истории и интерес к тому, что оказывается за ее рамками, характеризует широкий интеллектуальный контекст Европы середины XIX в., в который органично встраивается русская женская периодика.

В данной статье мы проследим, каким образом концептуализировались время и исторический процесс на страницах «Модного магазина» в первые годы его существования. Журнал был создан в эпоху реформ, вскоре после отмены крепостного права, и идея прогресса красной нитью проходила во многих его публикациях. Одной из важных тем издания был «женский вопрос», который маркировался как остросовременный и рассматривался в широком историческом контексте. Тем самым женщины оказывались активно вовлечены в историю, а история осмыслялась во многом через положение женщин. В то же время, как мы видели выше, предполагалось, что исторические знания могут потребляться подобно информации о модных новинках, являясь предметом «любопытства» скорее, нежели какого-то иного, «серьезного» интереса — что, безусловно, снижало их социально-преобразовательный смысл.

[3] С. Г. Мей в первых выпусках журнала зачастую обращалась к гендерно недифференцированной аудитории, в том числе профессиональной: «…один из наших подписчиков изъявляет желание, чтобы детских мод в нашем журнале вовсе не было. Другой требует таких как можно больше, потому что у него пять человек детей, а говорит, что ему не нужно воротничков. Третий просит, чтоб были одни только воротнички и рукавчики, потому что он ими торгует» [Мей 1862а: 19]. Однако большинство авторов адресовалось именно читательницам, а один из фельетонистов даже сравнивал себя со средневековым миннезингером, чья задача — развлекать прекрасных дам [Рыцарь 1862: 63].

В статье мы проанализируем, как обращение к истории в текстах «Модного магазина» способствовало укреплению или, напротив, проблематизации и дестабилизации гендерных стереотипов. При этом особенное внимание будет уделяться повседневности — бытовому, тривиальному, незначительному — как специфически женской исторической вотчине, а также репрезентациям эмоций в историческом контексте и в связи с опытом (исторического) чтения.

От Марии Стюарт до Гарибальди: мода как история

Основанный в 1862 г. Софией Григорьевной Мей, женой Л. А. Мея, «Модный магазин» представлял собой журнал нового типа. Как пишет Каролин Маркс в статье о русских женских журналах 1880-х годов, «прежде издания для женщин брали на себя задачу развлекать читательниц или просто снабжать их выкройками нарядов, но в середине столетия интерес российского общества к преобразованиям и к противоречивому женскому вопросу способствовал созданию журналов, имевших основной целью содействие развитию образования» [Marks 2001: 94]. Первым подобным женским журналом исследовательница называет созданный в 1859 г. «Рассвет».

«Модный магазин» в полной мере отражал эти тенденции, являясь при этом, как явствует из названия, в первую очередь модным, а не общественно-политическим журналом. Полемическая публицистика, исторические очерки, художественные произведения с острой социальной тематикой сочетались в нем с легким жанром: сентиментальными или шуточными стихами и небольшими пьесами, сенсационными повествованиями, игривыми фельетонами. Важную часть издания составляли практические советы по шитью и отделке нарядов и предметов бытовой обстановки, ведению домашнего хозяйства, гигиене и уходу за собой. При этом между подобными инструкциями, просветительскими и развлекательными материалами не было четкой границы, нередко различные аспекты сочетались в одном разделе или даже в одном тексте. Так, модная колонка, которую на протяжении двадцати лет вела сама редактор-издательница, совмещала рекомендации прикладной, утилитарной направленности (часто читательницам давались советы, как приспособить платье устаревшего фасона к актуальным модным тенденциям или найти ему новое применение) с картинами гламурной жизни высшего света, и в то же время брала на себя в отношении своей аудитории функцию нравственного и ценностного руководства.

Самая первая статья о моде, опубликованная в «Модном магазине», не столько освещала актуальные тенденции, сколько формулировала миссию журнала: по замыслу издательницы, он должен был стать для читателей проводником в «лабиринте» женских мод, «в котором тем легче запутаться, чем больше в распоряжении денег и чем лучше предметы» [Мей 1862а: 18]. Культурный капитал — вкус, «уменье одеваться» — очевидным образом противопоставляется здесь экономическому достатку и ставится выше его. Тем самым журнал конструируется как экспертная инстанция, обладающая непререкаемым авторитетом в вопросах моды, и в то же время читательская аудитория мыслится как открытая общность, строящаяся вокруг достижимых ценностей. Среди последних не только способность к эстетическому суждению о моде, но

и практические навыки, позволяющие реализовать собственное видение стиля: «По нашему мнению, женщине так же необходимо уметь шить, как уметь читать и писать» [Там же: 19].

Интересно, что умение, которое может быть охарактеризовано как гендерно специфическое (рукоделие), предстает вторичным по отношению к универсальному навыку — грамотности, объясняется через него. Шитье выступает в данном случае не как «естественное» женское занятие, а как нечто, способное вызвать сложности, — чему, однако, можно научиться, пусть и не сразу: «Разумеется, каждая попытка сначала не удается, а потому и не надо начинать с того, что было бы жалко испортить» [Там же]. Стремясь вдохновить читательниц живым примером, автор пишет о том, что сама освоила шитье подобным образом:

> Научиться шить платья вовсе не так трудно, как это кажется с первого раза — нужна только добрая воля. Мы это знаем по опыту и уверены, что многие, с помощью наших советов, захотят победить эту мнимую трудность и попытают свои силы [Там же].

Таким образом, речь не идет о попытке вернуть женщин к традиционным женским занятиям — напротив, овладение навыками рукоделия призвано помочь читательницам обрести экономическую и символическую независимость от сиюминутных прихотей моды, выглядеть элегантно при минимальных тратах.

Подобная ставка на независимость в высшей степени характерна для ситуации 1860-х годов в Российской империи — времени пересмотра представлений о роли женщины в обществе, когда велись дебаты о предоставлении женщинам права получать высшее образование, увенчавшиеся открытием женских курсов в Санкт-Петербурге и Москве начиная с 1869 г., и женщины все более активно вовлекались в трудовую и общественную деятельность (в том числе участвуя в работе радикальных организаций — тайных революционных обществ и террористических групп). Вместе с тем во многом, в том числе и в том, как понимались феномен моды и его социокультурное значение, «Модный магазин» выступал наследником философии Просвещения и первых изданий о моде, выходивших на русском языке.

Как показала Ксения Бордэриу в своей монографии о моде и культуре красоты в России XVIII в., характерной особенностью ранних модных журналов была неразрывная связь между информированием о новых тенденциях в моде и критикой модных излишеств [Бордэриу 2016: 117]. Мода представала одновременно и легкомысленным, возможно, опасным увлечением, от которого необходимо было дистанцироваться, подчинив его контролю рассудка, и серьезным предприятием — экономическим и даже политическим, поскольку в нем получала выражение нарождавшаяся национальная идея. Кроме того, смена мод делала зримым течение времени, позволяя наглядно воплотить идею современности и прогресса: «Отзывы о минувших модах не могли быть иными, кроме как нелестными, потому что за этим кроется сравнение своего поколения с предыдущим, превосходство нынешнего дня над минувшим» [Там же: 234]. В то же время существовал выраженный интерес к модам прошлого, которые становились даже предметом научных трактатов, не говоря уже о

неослабном внимании женской прессы к этой теме. Наряду с собственно историей моды — смены модных силуэтов, эволюции отдельных элементов гардероба, происхождения тех или иных предметов и фасонов — нередко рассматривалась роль моды в «большой истории»: различные исторические инциденты, которые историографическая или анекдотическая традиция увязывала с костюмом, прической и т. п. [Там же: 231–232]. Итак, модные журналы эпохи Просвещения в силу самой своей тематики оказывались важными проводниками популярного исторического знания, способствуя формированию у читателей исторической картины мира и представления о месте своей эпохи во времени — на острие прогресса.

В середине XIX в., на волне историзма, широкое использование образов прошлого в современной моде требовало от модниц еще более детального знания исторических фасонов. Наряду с возрождением «больших стилей» времен Людовиков XV и XVI, влияние которых охватывало не только костюмы, но и интерьерный дизайн, названия отдельных предметов одежды и особенно аксессуаров воскрешали в памяти как относительно недавние, так и более отдаленные эпохи. На первый план при этом выходили имена исторических персонажей, становившиеся в один ряд с другими модными словечками, отсылавшими к актуальным фасонам, расцветкам и отделкам. Помимо безусловных лидеров моды историзма — Марии-Антуанетты и маркизы де Помпадур — заметное место среди модных ориентиров принадлежало Марии Стюарт, чье имя носили и платья, и шляпы.

Подобные отсылки зачастую имели весьма условный характер, передавая дух эпохи (в особенности если от современности ее отделяли многие века) при помощи отдельных узнаваемых атрибутов, а иногда — исключительно за счет названий. Так, Энн Холландер пишет о театральном костюме эпохи историзма: «На протяжении всего XIX века ‹…› было принято носить вполне современные модные вещи, выдавая их за аутентичное историческое платье» [Холландер 2015: 337]. Тем не менее к этому времени сформировалось представление о прошлом как о чем-то принципиально отличном от настоящего, и исторические костюмы служили наглядным подтверждением этой идеи.

Интерес к одежде как к инструменту визуальной хронологии и к носителю вотелесненного исторического опыта очевиден в следующей заметке из «Модного магазина»:

> Третья, несколько запоздалая новость, которая впрочем может назваться старостью, это столетний юбилей 2-го кадетского корпуса, бывший 25-го октября. 26-го дан был в корпусе бал, в котором особенно замечательны были расставленные по коридорам ряды кадет, одетых в форменные костюмы корпуса от его учреждения последовательно и до настоящего времени. Форма и напудренные парики времен Екатерины II по красоте своей привлекали к себе наиболее внимание посетительниц бала [К-ий 1862b: 507].

Примечательно, что эстетическая оценка играет важную роль в восприятии прошлого даже в отношении военной формы, которая тем самым уподобляется модному наряду.

Это сближение неслучайно — в начале 1860-х годов, как и в целом в середине XIX в., женский костюм испытывал заметное влияние офицерского мундира в крое и отделках. Военные события, как исторические, так и современные, пополняли модный словарь, закрепляясь в названиях тканей, предметов одежды, оттенков цвета. Подобно историческим персонажам, о которых шла речь выше, эти термины легко превращались в пустой знак моды, в имя, не отсылающее ни к какому специфическому контексту.

Такого рода присвоение и потребление политики, войн, революций в рамках модного дискурса нередко становилось объектом сатиры. Так, в одном из номеров «Модного магазина» фельетонист, подписывавшийся «Василий Кремень», сообщал:

> Кроме Гарибальди за границею нет ничего особенно близко интересующего «Модный магазин»; правда, в Кохинхине, в Южной, Средней и Северной Америке, в Турции и в Китае война; но до тех пор пока отличившийся герой не попадет на плечи наших дам хоть в виде фишю какого-нибудь, он не имеет права считаться европейскою знаменитостью, и война, в которой он участвовал, не может быть занесена на скрижали «Модного магазина» [Кремень 1862: 336].

Джузеппе Гарибальди был в это время звездой мировой величины, чье имя не сходило со страниц прессы, не был исключением и «Модный магазин», регулярно публиковавший известия о здоровье любимца публики и о подробностях его кампаний. Однако ирония фельетониста связана с «перевоплощением» военачальника в предметы дамского гардероба:

> У нас уже носят рубашки и шляпки гарибальди, и я не знаю еще, какая часть костюма будет названа именем итальянского героя в будущий модный сезон [Там же: 335].

Таким образом, имя Гарибальди было известно каждой моднице, но далеко не каждая, по версии журнальных остроумцев, могла соотнести его с текущими политическими событиями. Многочисленные шутки представляли невежественных женщин, полагавших, к примеру, что Гарибальди — это фамилия парижской модистки. Тем самым воспроизводился стереотип об ограниченности женского кругозора, однако эта ситуация конструировалась как проблема, которую необходимо преодолеть: подразумевалось, что образованная и уважающая себя женщина должна разбираться как в моде, так и в политике. В свою очередь, применительно к событиям, дающим имя модным новинкам, можно говорить о коммодификации и редукции смысла, а можно, напротив, отметить, что таким образом политические новости втягивались в орбиту женского опыта, размывая границы приватной и публичной сфер. Кроме того, пусть даже в ироническом ключе, в данном фельетоне фактически рассматривается превращение современности в историю посредством моды и медиа. Отсылка к «скрижалям “Модного магазина”» указывает на одновременную и принципиально сходную работу механизмов памяти и забвения, прославления и исключения в новостной журналистике и в моде.

В целом журнал характеризуется постоянной рефлексией собственной роли в структурировании темпоральности читательского опыта. И модная колонка, и фельетоны неоднократно обращаются к теме «производства» времени — его членения на регулярные промежутки и наполнения событиями, которые пресса не столько отражает, сколько конструирует. Так, в одном из выпусков регулярного раздела «Где что делается» анонимный автор проблематизировал само его название, указывая, что в обыденной жизни на подобный вопрос можно ответить «ничего», тогда как фельетонисту «уж волей-неволей придется дать категорический отчет о жизни последних двух недель, ибо "Модный магазин" своими выходами в свет разделяет жизнь — как всю человеческую, так равно и свою, на двухнедельные периоды» [К-ий 1862а: 482]. Мода и журналистика как социальные институты формировали у публики вкус к новому, ожидание новизны, которое в целом способствовало повышению чувствительности к изменениям и предопределяло их позитивную оценку. Однако само требование нового образовывало неизменный фон, гомогенизировавший проецируемые на него события, — как представляется, именно с этим, скорее чем с реальным отсутствием новостей, связаны частые жалобы колумнистов журнала на нехватку новшеств и иллюзорность изменений.

Уже в цитате, которой открывалась настоящая статья, заметно противопоставление и в то же время парадоксальное совпадение «теперь» и «всегда», модного и привычного («В нынешний год, как и всегда ‹…› что теперь в такой моде»). Это кажущееся противоречие, по всей видимости, неслучайно, так как далее автор развивает свою мысль об условности нововведений, ассоциируемых со столицей моды:

> Париж — большой методист, что б там ни говорили о его любви к переменам: он делал в январе 1862 года то же, что в январе 1861 г. Он не изменяет ни своих привычек, ни удовольствий; его движение очень похоже на движение земли — он не ходит, а вертится; в настоящее время — танцует, потому что он всегда танцевал в это время года [Z. 1862: 66].

Таким образом, мода являла причудливое сочетание линейного («исторического») движения и кружения на месте, причем эти модусы бытия оказывались неразрывно слиты и нерасчленимы.

И все же чаще в материальном мире видели наглядное свидетельство исторического развития, причем последовательная смена декоративных стилей и модных тенденций составляла лишь одну из сторон этого воочию наблюдаемого процесса. Другим важным аспектом выступала демократизация культуры — по выражению одного из авторов журнала, «главное отличие новоевропейской цивилизации от древних то, что наша цивилизация шире обхватывает массы, нежели древние» [Сонова 1864: 161]. В цитируемой статье речь шла о включении все более широких социальных слоев в общественную жизнь, о растущей доступности образования — в том числе для женщин. Однако в тех же категориях осмыслялось массовое потребление предметов быта, ставшее возможным в результате развития промышленности, торговли, транспортного сообщения и городской инфраструктуры. Так, анонимный переводной очерк «Теперь и прежде», опубликованный в № 22 «Модного магазина» за 1862 г., констатировал:

> Прежнее благоустройство и удобства в жизни, даже у людей высшего класса, далеко уступают нынешним; и только благодаря новым понятиям и новому порядку вещей просвещение достигло той степени благосостояния, что удобства к жизни сделались всеобщими [Теперь 1862: 504].

Примечательно, что потребление рассматривается здесь как аспект «просвещения», акцент делается на «новые понятия», сопутствующие и даже предшествующие изменениям повседневной культуры.

Можно сказать, что этот очерк до некоторой степени предвосхищает подход, предложенный Норбертом Элиасом в его фундаментальном труде 1930-х годов «О процессе цивилизации» [Элиас 2001], где на основании кодифицированных предписаний, регулирующих бытовое поведение, а также литературных и визуальных источников раннего Нового времени прослеживается формирование новых аффективных структур и стандартов чувствительности. Как и Элиас впоследствии, анонимный автор «Теперь и прежде» подробно останавливается на манерах поведения за столом, отмечая дифференциацию столовых приборов и связанное с ней увеличение дистанции между сотрапезниками, способствовавшее изменению представлений о неприятном. Среди других тем очерка — санитарное состояние публичных пространств («улицы были вместилищем грязи и всяких нечистот»), освещение, отопление (на передний план выходит понятие комфорта). Текст опирается в первую очередь на анекдотические свидетельства, но и на исторические документы того же типа, что использует Элиас: путевые заметки, письма, рекомендательную литературу (например, на «Прелести деревенской жизни» Николя де Бонфона — труд по кулинарии, освещающий также сервировку стола, непосредственно указывая на трансформацию аффектов: «…тарелки для гостей должны быть с углублением, чтобы удобнее было подавать похлебку и другие жидкости или самому накладывать то, что кому угодно, избегая отвращения кушать с одного блюда, в которое каждый опускает свою ложку, не обтирая, — прямо изо рта» [Теперь 1862: 505]).

Существенное отличие этого раннего наброска «процесса цивилизации» от работы Элиаса заключается в том, что центральная для социолога проблематика власти и иерархии совершенно ускользает от внимания анонимного автора очерка. Монархи предстают здесь не центром общественных отношений, прямо или косвенно формирующим нормы поведения и постепенно сосредоточивающим все большие властные полномочия, а злополучными страдальцами, которым довелось жить в лишенные комфорта эпохи, претерпевая всевозможные тяготы.

Кроме того, если Элиас проблематизирует цивилизационные достижения современности, показывая, с одной стороны, их хрупкость и относительность, а с другой — репрессивный характер, для автора «Теперь и прежде» абсолютное превосходство настоящего над прошлым несомненно. Минувшее характеризуется в первую очередь скудостью и убожеством быта:

> До тех пор не было ни мостовой, ни водосточных и помойных ям, ни освещения, и самые дома лишены были удобства, а мебель считалась редкостью [Там же].

Примечательно, что речь идет именно об отсутствии современных автору вещей:

> …За неимением кресел в комнате больного, король принужден был сесть на сундук ‹…› В квартирах не было ни комодов, ни письменных столов, ни шкафов. Оружие и одежда прятались в большие баулы или сундуки. В этих огромных вместилищах надо было все переворочать, чтоб достать какое-нибудь платье или что другое. ‹…› Стены в квартирах были голые, и только люди богатые оклеивали их обоями. ‹…› Зеркала долго были вовсе неизвестны [Там же].

Иная организация предметного мира рассматривается не в своих собственных категориях, а лишь как далекий и несовершенный прообраз актуальных конфигураций объектов, ценностей и телесного опыта.

Подобный взгляд на историю, неизменно представляющий настоящий момент в качестве ее кульминации, соответствует логике моды, согласно которой прошлое имеет ценность лишь как прелюдия к новейшим тенденциям, подчеркивающая их оригинальность, эстетическое и практическое совершенство. Неслучайно в центре исторических изменений, рассматриваемых в очерке, оказывается потребление, а именно превращение некогда элитарных объектов в товары массового спроса:

> Генриху IV поднесли пару перчаток как подарок, достойный короля. А теперь есть ли хоть одна бедная швея, у которой не было бы перчаток? [Там же: 504].

Анализируя феномен моды в своей редакторской колонке, София Мей постоянно возвращалась к мысли о том, что именно массовое распространение и предопределяет привлекательность новых фасонов, которые, таким образом, конституируют актуальную визуальную норму. Подобное положение дел становится возможным лишь в современную эпоху, что составляет одно из важных ее отличий от предшествующих веков:

> В прежнее время моды были более резки и назначались для известного класса людей, и особы другого круга ни за что не решились бы применить их к себе. В настоящее время не то. Различия нет. Светские барыни стали снисходительнее и охотно носят туалет, который носит дама низшего круга, лишь бы оно было признано модою [Мей 1864b: 188].

Итак, современная мода предстает в журнальных публикациях объединяющим началом, способствующим конструированию преодолевающего сословные границы универсального сообщества. Этот демократический аспект моды и потребления выступает частным случаем более масштабных и глубинных социально-политических изменений, связываемых с идеей исторического прогресса, о которых речь пойдет далее.

«Женский вопрос»: поле битвы прошлого с будущим

В объявлении об открытии подписки на второй год издания «Модного магазина» С. Г. Мей писала:

> Направление нашего журнала уже довольно ясно высказалось — мы горячо сочувствуем всему, что может содействовать развитию женщин, улучшению их быта, как домашнего, так и общественного, и утверждению за ними человеческих прав [Мей 1862d].

Действительно, первые номера журнала постоянно обращались к «женскому вопросу». Именно через положение женщин, через назревшую потребность его изменить и реакцию общественности на эту ситуацию определялась современность (а во многом и исторический процесс — как своеобразная преамбула к настоящему). Так, публикация в первом номере «Модного магазина» статьи «Женщины» французского журналиста Луи Журдана (1810–1881) сопровождалась редакторским примечанием:

> Теперь так всех занимает вопрос о женщинах, что мы считаем не лишним познакомить наших читателей с воззрениями на этот предмет одного из известнейших современных публицистов [Журдан 1862: 6].

Известность Журдана была во многом связана с радикальной профеминистской позицией, выражавшейся в его текстах и общественной деятельности (так, в 1870 г. он вошел в состав центрального комитета вновь созданной Ассоциации за права женщин). Этим же, по-видимому, обусловлена его современность, в обоих смыслах слова: Журдан и его статья принадлежат тому самому моменту «теперь», который ощущается и описывается как переломный.

Подобным ощущением пронизана и сама статья, в которой настоящее понимается не иначе, как арена «столкновения двух начал, оспаривающих первенство: столкновения добра со злом, прошлого с будущим, невежества с наукой» [Там же: 8]. Эта драматическая, в манихейском духе картина борьбы полярных сил не допускает сомнения в осязаемом и тотальном характере прогресса: прошедшее недвусмысленно противопоставляется грядущему, как зло благу. Таким образом, триумф добра, казалось бы, предопределен самим ходом времени: наука победит невежество столь же закономерно, как будущее приходит на смену прошлому. Однако в цитируемом фрагменте сохраняется неопределенность относительно исхода эпохального противоборства — так, представляющийся неминуемым прогресс парадоксальным образом оказывается под угрозой.

Наблюдаемое здесь противоречие характеризует новое состояние исторического знания и популярных представлений об истории, формировавшееся с конца XVIII в. Райнхарт Козеллек констатировал происходящий в это время смысловой сдвиг, в результате которого понятие «история» приобретает абстрактное и всеобъемлющее значение: осуществляется переход от истории чего-то — повествования об эпизодах из жизни отдельных выдающихся лиц, народов и государств, достижений мысли, нравов и обыкновений — к истории

«без зависимого слова», представляющей собой новый способ переживания времени («условие, делающее возможным опыт прошлого и ожидание будущего»), прежде всего — настоящего.

По мысли Козеллека, начиная с эпохи Просвещения «история уже не сводится к совокупности прошедших событий и рассказыванию о них. Ее повествовательное значение отодвигается на второй план, и с конца XVIII века с понятием истории начинают связывать горизонт социального и политического планирования, устремленность в будущее. В десятилетие, предшествующее Французской революции, и позднее, во время революционных потрясений, оно содержит в основном (хотя и не исключительно) действенное начало» [Козеллек 2004]. Выдвижение на первый план проективного измерения истории, потеснившего чисто нарративное, означало переосмысление роли исторического субъекта, который отныне все чаще представлялся творцом истории.

Логика истории, таким образом, до определенной степени отождествлялась с индивидуальной или коллективной волей, которая, в свою очередь, должна была быть направлена на достижение исторически оправданных целей. Так и в идее прогресса соединялись представления об исторической неизбежности и необходимости приложения определенных усилий для ее свершения. Соответственно, выявление исторических закономерностей и прогнозирование вытекающих из них прогрессивных изменений становилось политическим козырем, который охотно разыгрывали различные силы. По замечанию Козеллека, «охотнее всего к тезису о подвластности истории человеку прибегают представители наиболее активных социальных групп, стремящихся провести в жизнь нечто новое. В этом отношении союз с историей, которую люди будто бы лишь подхлестывают на ее собственном пути, служит как оправданием, так и широковещательным идеологическим аргументом, который помогает быть услышанным и привлечь новых сторонников» [Там же].

В нашем примере «нечто новое», которое стремятся провести в жизнь «представители наиболее активных социальных групп», это расширение прав женщин, и аргументация, основанная на исторической целесообразности, красной нитью проходит в публикуемой «Модным магазином» статье Луи Журдана:

> …Именно потому, что человечество переходит теперь от состояния варварства к просвещению, от детства к возмужалости, — мнимое превосходство мужчин подлежит, может быть, больше другого чего-нибудь пересмотру и обсуждению [Журдан 1862: 8].

Здесь мы видим все ту же бинарную структуру, накладывающуюся на оппозицию «прошлое — будущее», где полюса получают категоричные оценочные характеристики, направленные на то, чтобы вызвать в читателях эмоциональный отклик. Примечательно, что мужское господство квалифицируется как «мнимое»: с одной стороны, здесь подчеркивается несправедливость существующего неравенства, с другой — выявляется его дискурсивная природа. По словам Журдана, «отвратительное понятие, которое составили мужчины, взятые в массе, уже шесть тысяч лет о женщинах, основано на пустяках, на словах без значения» [Там же: 7]. В то же время слова не имели бы такой власти, если бы не были подкреплены силой: «С тех самых пор, как устроились

общества, мужская половина гнетет женскую — по дикому праву сильного» [Там же]. Таким образом, поднимается проблема соотношения физического и символического насилия, их взаимообусловленности и перекрестной легитимации.

Осуждение насилия в статье Журдана до некоторой степени смягчается тем, что оно зачастую описывается как ребячество, инфантильное поведение, которое, конечно, должно быть преодолено, но при этом вроде бы как и извинительно, особенно на прежнем этапе развития нравов. Помимо уже упоминавшегося противопоставления исторических эпох как детства и возмужалости, прошлое человечества именуется «младенчеством» в предпоследнем абзаце статьи, повествующем о переходе от эры войн к эре промышленности и торговли:

> Когда земной шар был еще в младенчестве и война была единственным средством сближения между собой разнородных племен, очень понятно, что мужчина решал один, действовал один, а женщина оставалась взаперти, у домашнего очага, покорной служанкой своего господина и повелителя. Но когда царство войны близится к концу, когда народы стремятся заменить прежние средства к сближению другими, более мирными и плодотворными, обменом промышленности и торговли, безумно было бы поверить, что женщины не должны принимать деятельного участия в решении нравственных вопросов, что можно обойтись без их содействия [Там же].

Однако примечательно, что автор затрудняется уточнить, какую именно форму должно принять это содействие: промышленность и торговля — более «цивилизованные» виды деятельности по сравнению с военной агрессией — в той же мере ассоциируются с мужской активностью и господством, ничего не меняя в расстановке сил в обществе с точки зрения гендера.

Тем не менее, по мысли Журдана, положение женщин в ходе исторического процесса существенно изменилось к лучшему, что, в свою очередь, оказало позитивное влияние на состояние общества в целом:

> Когда я подумаю о том, что были женщины в первобытных обществах, и о том, чем они постепенно сделались, какое приобрели влияние, как много содействовали смягчению нравов, я, с своей стороны, проникаюсь чувством удивления и почтения [Там же: 8].

Этот пример прекрасно иллюстрирует идею вполне определенного — прогрессивного — вектора исторического развития, которое, однако, вполне возможно, и более того, необходимо поддержать и ускорить. И хотя публицистика Журдана была адресована широкому кругу читателей, субъектом изменения в данном случае мыслится прежде всего женщина (при этом, как указывалось выше, характер ее предполагаемого вмешательства описывается энигматически и апофатически).

Неопределенность проекта общественных изменений усиливала значимость аргументации от противного: тема «варварского» прошлого, характеризовавшегося униженным положением женщины, красной нитью проходит

в публицистике «Модного магазина». Отдельные статьи и даже серии очерков были посвящены роли женщины в Древнем Риме периода империи, в допетровской Руси и т. д. Примечательно, что первая из цикла публикаций о Древней Руси представляет собой обзор фольклорного материала — былин и преданий, где действуют героини-богатырши; анализируя этот материал, автор делает вывод, что «положение женских лиц в Древней Руси было, по былинам, довольно самостоятельное» [Худяков 1863: 239]. Однако значительно более частой темой в популярных исторических статьях является угнетенность женщин и их исключенность из общественной жизни:

> …У индийцев и египтян образованность исключительно была в руках духовенства; у греков и римлян уже нет этого, но у них также, как у древних индийцев и египтян, женщины не принимали никакого участия в цивилизации, они были совершенно не равноправны с мужчинами [Сонова 1864: 161].

Живописуя ужасы жизни женщин в древние времена, авторы «Модного магазина» нередко подчеркивали, что «следы этого рабства и унижения сохранились до сих пор между дикими народами» [Иванов 1862а: 366] — но также и в «цивилизованном» мире, где «сохранился прежний взгляд на женщину» как на декоративную безделушку и «источник всевозможных наслаждений» [Там же: 366–367]. Таким образом, общественное положение и жизненный мир женщин мыслились как своего рода «анклав» прошлого в современности. В тех же категориях описывалась народная культура:

> Простой народ не только у нас, в России, но и во всей Европе живет почти тою же жизнью, какою он жил в IX, X веке [Худяков 1863: 236].

Как представляется, это совпадение неслучайно: в обоих случаях речь идет о культурном отставании как о следствии зависимого положения:

> Как низшие слои общества, так и вообще народы, угнетенные другими народами (например, сербы и болгаре в Турции), давно стоят на одном месте и почти не идут по пути нравственного и умственного прогресса [Там же].

Но если применительно к «простому народу» рассуждения публицистов фокусировались на внешних ограничениях, связанных с несправедливостью общественного устройства, то авторы, обращавшиеся к «женскому вопросу», делали акцент на интериоризации подчинения:

> …Окруженная такими понятиями, слыша и в церкви и от окружающих, что она существо нечистое, что она гораздо ниже мужчины во всех отношениях, женщина поневоле потеряла сознание человеческого достоинства и остановилась на пути развития [Иванов 1862а: 366].

Реформы Александра II, в первую очередь отмена крепостного права в 1861 г., казалось, отчетливо обозначили вектор исторического развития в направлении преодоления многовекового неравенства. Воплотив давние чаяния прогрессивной общественности, эти преобразования дали импульс стремлениям к скорейшему осуществлению дальнейших демократических изменений и расширению гражданских свобод. Показательно, что проект наделения женщин «человеческими правами» именовался «эмансипацией» (в XIX в. часто писалось *эманципация*), что ставило этот процесс в один ряд с освобождением крестьян, а также с грядущим упразднением рабства в Северной Америке.

«Эманципация рабов и эманципация женщин — вот одни из самых занимательных, самых животрепещущих вопросов современного образованного общества», — писала С. Г. Мей на страницах своего журнала в статье «Эманципация женщин» [Мей 1862b: 160]. При этом «женский вопрос» представлялся ей несравненно более сложным, нежели центральная проблема аболиционизма. По-видимому, это можно связать с особенным вниманием к внутренним, духовным последствиям неравенства для женщин, о котором говорилось выше. Так или иначе, как одну из угроз и помех Мей выделяет ложное понятие об эмансипации, которое составили себе «некоторые русские дамы»:

> Переведя слово эманципация *непристойностью*, дамы эти выработали из себя какой-то уродливый тип, отдалившийся от женского и смутно напоминающий мужчин дурного общества, и назвали себя *эманципированными женщинами* (курсив источника. — *К. Г.*) ‹…› таких женщин надо преследовать как общественное зло: они опошливают, извращают самые благие начинания и останавливают нравственное развитие [Там же: 161].

Эти замечания служили преамбулой к публикации фрагмента одной из самых актуальных на тот момент литературных новинок — романа Тургенева «Отцы и дети», а именно ставшую хрестоматийной сцену в доме эмансипе Авдотьи Кукшиной. Имя этого персонажа мгновенно стало нарицательным, обозначив социальный феномен, который считался следствием некритического, поверхностного заимствования модных западных идей и их переноса на русскую почву. В конце все того же 1862 г. один из фельетонистов «Модного магазина» вывел основные черты данного типа:

> Г-жам Кукшиным прежде всего нужны грязь, неряшество и голый, наглый своею откровенностью цинизм [К-ий 1862c: 526].

Примечательно, что в тургеневском описании бытовая неряшливость, которая действительно выступает одной из ключевых характеристик героини, упоминается в связи с интеллектуальными занятиями, отчего может показаться их следствием: комната, где Кукшина принимает гостей, «походила скорее на рабочий кабинет, чем на гостиную. Бумаги, письма, толстые нумера русских журналов, большею частию неразрезанные, валялись по запыленным столам» (цит. по: [Мей 1862b: 161]). Сама организация пространства и его материальное наполнение здесь призваны недвусмысленно указывать на столь беспокоившее Софию Мей «отдаление» от «женского типа» и переход к «дурному» мужскому.

В этом смысле образ Кукшиной, как представляется, контрастирует с посылом многих других публикаций журнала, согласно которым умственный труд и академические интересы характеризуют наиболее передовых, «развитых» женщин, стоящих выше предрассудков и пересудов:

> …Девушка не педантка, а истинно образованная и ученая, может презирать насмешки ‹…› большей части женщин; эти насмешки обратятся против самих же насмешниц [Иванов 1862b: 482].

Слово *девушка* в этой цитате отсылает к незамужней женщине, и некоторые авторы даже исходили из революционного предположения, что женщина может предпочесть интеллектуальную карьеру замужеству и созданию семьи:

> В Англии также заметно большое улучшение в общественном положении женщины, приобретающей все более и более независимости и свободы в выборе занятий; многие английские женщины отказываются от брака с той целью, чтоб иметь большую возможность к умственному развитию [Иванов 1862a: 368].

Вспомним, что именно «развитие» женщин редактор называла в числе основных целей своего издания. В этой ситуации особа, устроившая из своей гостиной подобие рабочего кабинета, могла выступать как положительным, так и отрицательным образцом.

Объяснить подобную двойственность помогает интерпретация механизмов гендерного регулирования, предложенная Джудит Батлер. По ее мнению, норма как абстрактная конструкция не может быть отождествлена с производимыми ею конкретными эффектами, в которых она воплощается неизменно неполно. Распознавание того или иного явления как (не)нормального требует, таким образом, навыков чтения социальной реальности, акцентирующего значимые и скрадывающего незначимые черты. Именно формирование подобного избирательного внимания выступает основным результатом нормативного регулирования: «Норма определяет познаваемость, позволяет определенным видам практик и действий становиться социально различимыми, делая социальное удобочитаемым и намечая параметры того, что приемлемо или неприемлемо в общественной сфере». Батлер также отмечает двунаправленное действие регуляторов, ответственных за воспроизводство нормы, которые в то же время расшатывают и проблематизируют ее: «Да, гендер есть механизм, нормализующий и натурализующий понятия мужского и женского, но одновременно он может выступать в качестве механизма, посредством которого эти термины подвергаются деконструкции и денатурализации. Действительно, может получиться так, что аппарат, предназначенный для утверждения нормы, одновременно будет подрывать этот процесс, делая нормативное определение незаконченным» [Батлер 2011].

Принципиальная незаконченность нормативного определения женственности представляется важной характеристикой социокультурной ситуации 1860-х годов в России. Переживание настоящего момента как переломного провоцировало неуверенность, которая способствовала окказиональным проявлениям консервативно-охранительных тенденций даже в «прогрессивной»

литературе и публицистике, — отсюда призыв «преследовать как общественное зло» «неправильных» женщин-эмансипе. Наряду с этим та же нестабильность, подвижность норм открывала возможность претворения в жизнь желанных изменений, переопределения статуса и общественной роли женщины. Так или иначе, книжные занятия женщин со всей очевидностью представляли собой «социально различимое», значимое поведение, оценка которого колебалась в диапазоне от угрозы женственности до нового идеала.

Любопытно, что при подобной размытости норм и взаимной противоречивости указаний, исходящих от различных (а порой даже одних и тех же) авторов «Модного магазина», рекомендации эти звучат неизменно категорично, указывая на определение женственности как на арену символической борьбы, где ставки весьма высоки. Если все же попытаться вычленить неизменную составляющую этих несхожих конструкций, то к ней, возможно, в силу тематики журнала будут относиться «хороший вкус», чувство стиля и способность следовать моде, не становясь при этом ее жертвой. Эти качества значимы для самоопределения женщин, что видно в первую очередь из самопрезентации редактора-издательницы и ее культурной политики. Но и мужчины, которые, по мнению С. Г. Мей, «вовсе не отличаются красотой костюма» [Мей 1864a: 157], разделяли подобные представления, характеризуя женственность как «неуловимое, но присущее женской натуре эстетическое чутье изящного» [К-ий 1862c: 526]. Тем самым журнал в целом являл собой проект культивирования женственности, понимаемой достаточно традиционно, жестко регламентированной и в то же время открытой для переосмысления, включения новых черт — в соответствии с диалектикой новизны и повторения в моде.

Другой важнейшей чертой женственности выступает специфическая совокупность эмоциональных реакций и способов чувствования. К эмоциям читательниц обращается София Мей в своей инвективе против эмансипе: «Порядочным женщинам дамы эти внушили глубокое отвращение» [Мей 1862b: 161] — инстинктивное неприятие отклонений позволяет представить гендерные нормы как естественную данность. Чаще речь идет о нежных чувствах, романтической привязанности, жалости, эмпатии, но так или иначе женщинам приписываются бóльшая чувствительность и способность испытывать более интенсивные переживания. Наделяемые ценностью в контексте нормативной модели женственности, эти свойства в то же время оказываются скорее помехой, когда речь заходит о включении женщин в публичную сферу, которая подразумевает более высокую степень «связанности аффектов», в терминологии Элиаса, и главенство разума над чувствами — т. е. «мужскую» эмоциональную модель. В следующем разделе статьи мы рассмотрим материалы «Модного магазина», направленные на «воспитание чувств» читательниц, где прослеживаются попытки примирить требования соответствия гендерной норме и стремление полноценно участвовать в общественной жизни.

История и «деятельное» чтение: сочувствие как соучастие

Правильное эмоциональное развитие не мыслилось в отрыве от читательского опыта. В целом чтение должно было служить ключевым инструментом преодоления темпорального разрыва, предположительно отделявшего от со-

временности женщин, «низшие слои общества» и «угнетенные народы». Именно отсутствие интереса к чтению и (само)образованию маркировало женский быт как пережиток прошлого:

> Следы этого невежества можно видеть и в наше время: есть женщины из дворянского сословия, едва знающие грамоту на том основании, что не женское дело книжки читать [Иванов 1862а: 367].

В цитируемом пассаже речь идет о «внутреннем» отставании, созданном петровскими реформами, когда изменился лишь костюм, но не образ мыслей женщин. По своему изолирующему воздействию неграмотность уподобляется полулегендарному древнерусскому терему, в котором женщина допетровских времен «содержалась как пленница, как неотъемлемая собственность родителей или мужа» [Там же].

В этом контексте представляется вполне закономерным, что само по себе чтение рассматривалось как способ участия в общественной жизни. Так, в цитировавшейся выше программной статье Луи Журдана публицист с большим энтузиазмом упоминает «движение, совершающееся между нами, по поводу женщин, движение, в котором сами женщины принимают такое разумное, такое деятельное участие, читая бесчисленные сочинения, которые появляются ежедневно и клонятся к тому, чтобы возвратить женскому влиянию на общественную деятельность должное значение» [Журдан 1862: 8]. По сути, такая «деятельность» оказывается единственной на тот момент легитимной формой вовлечения женщин в публичное пространство — в отличие, к примеру, от письма. Как пишет далее Журдан,

> …нам кажется невозможным не верить в будущее посредство гениальной женщины, которая не будет писать стихов, романов и философских книг, но которая своим словом, своими действиями уяснит волнующие нас задачи, утишит споры и противоречия [Там же: 9].

Таким образом, акцент на чтении косвенно указывает на наличия ограничений не столько даже в реальном положении женщин, сколько в том, как оно представлялось наиболее «передовым» авторам того времени. В то же время здесь прослеживается изменившаяся роль читательского опыта, которую мы хотели бы рассмотреть подробнее.

В XVIII в. чтение воспринималось как интенсивная духовная практика, направленная на структурирование и усовершенствование внутреннего мира человека. По замечанию А. Л. Зорина, «любая значимая составляющая душевной жизни образованного человека была охвачена тем или иным “образцовым” писателем, задававшим модус соответствующего эмоционального переживания и вытекающего из него поведения» [Зорин 2016: 44]. Литература была учебником жизни и в первую очередь учебником чувств, важной характеристикой которых была возможность разделить их с другими читателями: «Самые популярные произведения того времени выполняли роль камертонов, по которым читатели учились настраивать свои сердца и проверять, насколько в унисон они чувствуют. Совместное чтение и переживание одних и тех же сочинений гарантировало распространение единых моделей чувства поверх

национальных барьеров и государственных границ» [Там же]. Для отечественных читателей участие в подобном транснациональном эмоциональном сообществе могло быть особенно значимо как аспект модернизации, временнóй синхронизации с Западом.

Текст в это время отождествляется с жизнью, а не противопоставляется ей: хотя индивидуальные биографии могут демонстрировать рассогласование с избранными книжными образцами и невозможность соответствовать им, общая культурная установка ориентирована на сближение написанного и пережитого. Впоследствии между ними намечается разрыв, очевидный уже в «Евгении Онегине» Пушкина: стремление Татьяны Лариной присвоить себе чувства героинь Ж.-Ж. Руссо и Сэмюэла Ричардсона и осмыслить свой опыт в романных категориях лишь подчеркивает для читателя, что жизнь — это не книга (вернее, это другая книга, требующая нового способа кодирования переживаний). Хотя этот зазор постоянно становится предметом пушкинской иронии («но наш герой, кто б ни был он, уж верно был не Грандисон»), на Татьяну она направлена в наименьшей степени, напротив, идентификация с романными героинями способствует тому, что Татьяна оказывается приподнятой над окружающей ее действительностью, превращаясь в «милый идеал».

Идеализация женщины в культуре романтизма подразумевала акцентировку различий между мужским и женским жизненными мирами, образами мыслей и действий. К 1860-м годам, хотя женственность и мужественность по-прежнему конструируются преимущественно через бинарные оппозиции, намечается очевидное движение к развенчанию романтических идеалов, которые начинают рассматриваться как способ закрепощения женщины, как еще одна форма консервирования прошлого в настоящем. Подразумеваемое при этом прошлое — это средневековая куртуазная культура, вновь и вновь подвергавшаяся нападкам на страницах «Модного магазина», чьи авторы вскрывали уродливую подоплеку культа Прекрасной Дамы:

> Обожанию женщин в Средние века также способствовала та таинственность, которою были окружены обитательницы замков: эта таинственность заставляла считать их существами, непохожими на других людей, и распаляла воображение праздных рыцарей и трубадуров, заставляла их петь нежные романсы под окнами своих возлюбленных и за один их взгляд бросаться в огонь и воду; но как только рыцарь делался обладателем дамы своего сердца, таинственность исчезала, и женщина из идола превращалась в рабу, безропотно покорявшуюся желаниям своего повелителя [Иванов 1862а: 367].

Желая обрести «человеческие права», женщина должна была спуститься с небес на землю — в представлениях окружающих, но также и в собственном образе мыслей. Интроспекция в этой ситуации была скорее нежелательна, а самоотождествление с романными героинями и вовсе недопустимо, так как понималось в эскапистском ключе.

В одном из первых выпусков «Модного магазина» был опубликован пространный переводной очерк, направленный против «привычки грезить», которая, по мысли автора текста,

> …похожа отчасти на привычку употреблять опиум и хашиш: она уносит мысль из здешнего мира к отдаленным призракам и в такие пространства, где самые несбыточные мечты находят возможность осуществиться. Потом, когда греза развеется и власть ее уже недействительна, приходится тяжело рухнуться на землю в тоске по неведомой отчизне, питая глубокое отвращение к действительности [Де Паруа 1862: 82].

Как показывает очерк, эта пагубная страсть характеризует в первую очередь женщин. Не затрагивая причин подобной склонности, автор, тем не менее, уверенно предлагает противоядие:

> Чтобы предупредить это зло, надо стараться всеми мерами изгонять праздность; надо, чтобы руки и мысли девочки, девушки и женщины постоянно были заняты, даже и в часы отдохновения; надо, словом, ограждать от нравственных болезней, а для этого есть одно только средство: труд во всех его проявлениях [Там же: 83].

Тем самым социальные проблемы, связанные с положением женщины в обществе, переводятся в план патологий индивидуального характера и дефектов воспитания, «выправление» которых возлагается на (домашний) труд, закрепляющий традиционные роли и функции женщины.

Очерк Де Паруа «Грезы» не затрагивает проблематику женского чтения, однако в нем содержится красноречивое упоминание «неестественной романтической литературы тридцатых годов», с которой ассоциируются живущие в мире грез «непонятые женщины»: они, как и соответствующие книги, называются безнадежно «вышедшими из моды» [Там же]. Хотя данная статья отсылает к французскому литературному контексту, выбор ее для публикации в «Модном магазине» показывает, что пушкинский идеал женственности, в свое время очаровавший даже сурового Белинского, самим женщинам к 1860-м годам мог представляться уже не столь привлекательным.

Другие авторы напрямую высказывались о вредном влиянии чтения на женщин, имея в виду в первую очередь романы, предположительно способные создать у читательниц нереалистичные ожидания по отношению к браку и семейной жизни, развить тягу к роскоши и развлечениям. Подобного мнения придерживалась популярная французская писательница середины XIX в., творившая под псевдонимом «графиня Даш» (настоящее имя — Габриэль Анна де Систерн де Куртира, виконтесса де Сен-Марс). Автор множества романов, в том числе нескольких написанных в соавторстве с Дюма-отцом и опубликованных под его именем, она, тем не менее, скептически оценивала роль литературы в жизни женщин, как явствует из ее «Книги о женщинах», вышедшей в 1860 г. Это сочинение вызвало бурную полемику, выплеснувшуюся также на страницы «Модного магазина», где в 1862 г. появился критический отклик на «Книгу о женщинах», растянувшийся на три номера (№ 17, 21, 22). Рецензент указывал на несоответствие взглядов графини Даш ее статусу женщины-литератора, а также подвергал сомнению развращающее воздействие изящной словесности на читательниц.

По мнению рецензента, напрасно «автор считает нравственность женщин до того воздушною, что она может улететь от каждого романа, каждой пове-

сти, каждого сценического представления» [Иванов 1862а: 370], ибо «на ум, развитый предварительным воспитанием, романы не могут иметь вредного влияния; напротив, они знакомят нас с жизнью или положительно или отрицательно» [Там же: 382]. По сравнению с представлениями рубежа XVIII–XIX вв., когда литература служила высоким образцом, по которому следовало выверять собственные поступки и чувства, здесь очевидно снижение значения чтения, которое становится скорее информирующим, чем формирующим. С этим связано другое важнейшее изменение: переход от читательского самоотождествления с героями, помещения себя «внутрь» произведения, к позиции стороннего наблюдателя («романы ‹…› знакомят нас с жизнью»). Любопытно, однако, что и этот рецензент не исключает вредного влияния романов на не «развитые предварительным воспитанием» умы. Таким образом, наивный читатель отдается во власть текста, тогда как искушенный господствует над ним.

Сходные мысли высказывала сама редактор-издательница «Модного магазина», отвечая на письмо читателя, возмущенного публикацией в ориентированном преимущественно на женскую аудиторию журнале «пошлого» рассказа А. Г. Витковского «Соседка», где мелкий чиновник разоряется и гибнет, влюбившись в живущую напротив кокотку. С. Г. Мей указывала на то, что выбор литературы должен определяться не гендером, а «возрастом» читателя, понимаемым как моральная, интеллектуальная и эмоциональная зрелость:

> Вас еще пугает вред, который рассказ г-на Витковского может нанести нравственности *дам и девиц*. По нашему мнению, взрослым людям все можно читать; если же *дамы и девицы* по своему умственному развитию и шаткой нравственности находятся еще в детстве, им надо выбирать чтение сообразное с их возрастом. Есть много книг, написанных исключительно для детей: там все приноровлено к их маленькому понятию, скрыто то, чего их маленький рассудок разобрать не в состоянии; жизнь не представлена им такою, как она *есть*, а такою как *могла бы быть и должна бы быть* — и тяжелый рассказ о язвах общества, конечно, не оскорбит их невинных ушей. А впрочем, *для невинных все невинно* (курсив источника. — *К. Г.*); как вы об этом думаете?.. [Мей 1862: 395].

Этот комментарий проблематизирует стереотипную инфантилизацию женщин, прочитывающуюся в стремлении ограждать их от изображений порока. Застывание во времени, присущее репрезентациям Другого, в случае женщин воспроизводится на двух уровнях — индивидуально-биографическом и социально-историческом (как мы видели выше, женщины ассоциируются с прошлым, которое, в свою очередь, называется «детством» или даже «младенчеством» человечества). Выступая против подобных стереотипов, С. Г. Мей в то же время признает их частичную правоту: она допускает, что некоторые «дамы и девицы по своему умственному развитию и шаткой нравственности находятся еще в детстве», и имплицитно призывает читательниц «повзрослеть».

Таким образом, «Модный магазин» адресуется «взрослым людям», но в то же время видит свою миссию во «взращивании» читателей — отсюда обилие на страницах журнала нравоучительных наставлений и дидактических

сочинений наподобие цитировавшегося выше очерка «Грезы». Публикуя художественные произведения, исторические и социально-критические очерки, редактор порой сопровождала их примечаниями, поясняющими, как именно следует воспринимать эти тексты и их проблематику. Примером может служить упоминавшийся выше фрагмент из «Отцов и детей» Тургенева, которому была предпослана редакторская статья о женской эмансипации. Наконец, большой интерес представляют рекомендации по «правильному» чтению, рассыпанные непосредственно в тексте публикуемых сочинений.

По замечанию А. Л. Зорина, «классические тексты часто содержали методики чтения: их герои постоянно выступали в роли активных читателей, интегрируя в предлагаемые символические модели инструкции по их освоению» [Зорин 2016: 44]. Художественные произведения, публиковавшиеся в «Модном магазине», нередко также показывают героев читающими, являя спектр возможных взаимодействий читателя с текстом, потенциальных (анти)образцов читательских предпочтений и способов реакции. Далее мы рассмотрим конкретный пример, представляющий особенный интерес в силу своей жанровой природы и сложносоставной нарративной рамки, включающей нескольких рассказчиков.

В номерах 5–6 «Модного магазина» за 1863 г. был опубликован очерк «Молодость Шарлотты Корде», позаимствованный, как и многие другие исторические сочинения, появлявшиеся на страницах этого журнала, из «Revue des Deux Mondes». На авторство текста, казалось бы, указывает приписка «из Казимира Перье» под заголовком, однако из первого же абзаца текста читатель узнает, что рассказ о событиях революционного времени поведет «госпожа М.» (Анна Арманда Розали Луайе, в замужестве де Маром, 1773–1860), «одна из родственниц» Перье по материнской линии, которая «сама поручила мне издать после ее смерти страницы, посвященные памяти друга ее детства» [Перье 1863: 57]. Тем самым эпизод политической истории помещается в приватную рамку женских воспоминаний с их специфическим эмоциональным контекстом: акцентируются личные отношения, детская дружба, семейные связи. Превращаясь в семейное предание, история Шарлотты Корде «одомашнивается» и становится более приемлемой для женской читательской аудитории. Подобное «возвращение в семью» особенно значимо применительно к фигуре Корде, которую многие источники XIX в., в том числе уже цитировавшийся ранее Луи Журдан в своей нашумевшей книге «Женщины перед эшафотом», представляли заблудшей овечкой:

> Шарлотта рано лишилась матери. Ах! как легко сбиться с пути ребенку, утратившему этого нежного и дорогого наставника! [Jourdan 1863: 134].

Таким образом, отсутствие матери — основной ролевой модели женственности — способствует тому, что Шарлотта Корде становится «неправильной» женщиной, ставящей политические соображения выше личных и поэтому способной на убийство.

Госпожа М., чьими глазами мы видим Шарлотту Корде, являет полную противоположность этому: по словам Перье,

> …всею душою преданная партии легитимистов, она увлекалась в политических вопросах до возможности потерять свободу суждения ‹…› Никогда, однако, ее дружеские отношения не охлаждались существовавшим в ее семействе разногласием мнений о политике [Перье 1863: 57].

Контраст задается не только и не столько характером политических предпочтений (республиканских и монархических, соответственно), сколько тем местом, которое им отводится. Фанатизм Корде помещается в двойную рамку, оттененный позицией госпожи М., которая ставит личные отношения выше политики, и дополнительно опосредованный «объективным» голосом Перье-рассказчика — финальной инстанцией ценностного суждения.

Противопоставление двух женщин проводится также на уровне их читательских практик. О Шарлотте Корде мы узнаем, что «она не прочла ни одного романа. Оборот ее мыслей был слишком серьезен, слишком основателен, чтобы позволить ей находить прелесть в этих вымыслах» [Там же: 69–70]. Таким образом, опасный мир грез, созданный романистами, не увлекает Корде. Тем не менее книги играют большую, определяющую роль в ее жизни:

> …Пропитанная постоянным чтением греческих и римских писателей, особенно ею любимых, [она] обнаружила некоторые республиканские чувства, которые зародились в ней вследствие этих занятий, привлекавших ее к себе с самого нежного возраста, даже до начала французской революции. События еще более развили в ней эти чувства [Там же: 60].

Чтение описывается здесь как источник чувств и моделей поведения, однако под «чувствами» подразумеваются не сентиментальные переживания, а политическое кредо. Важно, что именно книги выступают вдохновителем республиканских взглядов, которые впоследствии подпитываются революционными событиями, — т. е. текст выступает образцом и основой жизненных практик, как и в случае пушкинской Татьяны, несмотря на все гендерно маркированные различия в выборе чтения и поведения.

Чтение юной госпожи М., какой ее рисуют мемуары, также политизировано и не является характерно «женским» в смысле выбора книг. Текст показывает ее читающей «Историю Англии», акцентируя ключевой с точки зрения исторических параллелей и понимания современной ей эпохи момент — Английскую революцию:

> Я проливала горячие слезы, читая о несчастиях Карла I, и восторгалась чертами преданности, прославившими приверженцев Стюартов [Там же: 70].

Способность к жалости и состраданию, повышенная эмоциональность читательского восприятия маркирует женственную мягкость, которая и отличает госпожу М. от суровой Шарлотты Корде. В то же время стремление соотнести жизнь с (историческим) текстом, желание подражать прочитанному в обоих случаях одинаковы.

Так, читая о самоотверженности английских роялистов, госпожа М. обращается к сестре со следующими словами:

> — Видишь ли, моя милая, — говорила я моему маленькому другу, — вот что сделала бы я, если бы то же самое случилось во Франции: я пожертвовала бы собою для моего короля, я хотела бы умереть за него [Там же].

Однако ретроспективная логика мемуаров позволяет нам немедленно увидеть несостоятельность этих намерений:

> …Я хотела умереть и еще живу для того, чтобы оплакивать гибель стольких дорогих друзей и вздыхать о несчастиях своей родины [Там же].

Таким образом, образцовая женственность госпожи М. оказывается сопряжена с пассивностью и бездействием, тогда как поступок Корде описывается не иначе как «заблуждение», противоестественное женской природе (несмотря на устойчивую библейскую параллель: и Журдан, и Перье называют Корде новой Юдифью).

Итак, текст Перье не предлагает единственного, законченного образца, на который могли бы ориентироваться читательницы. Скорее он провоцирует вопросы о роли и месте женщины в истории и общественной жизни, не давая на них окончательного ответа, а лишь демонстрируя ограничения существующих моделей. Однако представляется важным, что героини показаны читающими: тем самым женское чтение утверждается как легитимная и значимая культурная практика; особенно примечательно, что речь идет не о «феминизированных» современных романах, а об исторических и философских трудах, о сочинениях древних авторов.

Кроме того, фигура героини-читательницы производит своего рода эффект mise en abyme, в который вовлекаются как персонажи читаемых ею произведений, так и журнальная аудитория. При этом, в отличие от многих известных примеров литературной рекурсии, от «Книги тысячи и одной ночи» до модернистских и постмодернистских экспериментов, акцент делается не на нарратив, размещаемый внутри другого нарратива. Скорее можно сказать, что повествование в данном случае сворачивается до максимально компактного знака («римские писатели», «История Англии»), расшифровать который позволяет общий культурный контекст читателя и писателя. Вместо содержания, которое, таким образом, лишь подразумевается, акцентируется сам принцип подобия между текстом и его рамкой («жизнью»), которые бесконечно меняются местами, оборачиваясь друг другом.

Применительно к явлениям такого рода Х. Л. Борхес заключал: «...если вымышленные персонажи могут быть читателями или зрителями, то мы, по отношению к ним читатели или зрители, тоже, возможно, вымышлены» [Борхес 1992: 349]. Однако в культурной ситуации середины XIX в. развоплощение читателя едва ли стояло на повестке дня — напротив, прием, который мы обозначили как mise en abyme, подчеркивал реальность опыта чтения. Ключевое значение в данном случае имели читательское взаимодействие с книгой,

эмоциональные реакции, проецирование себя в текст и текста на свою жизнь. В этом контексте идентичности — как героинь, так и читательниц, героинь как читательниц и читательниц как героинь — предстают не застывшими сущностями, а подвижными, пластичными образованиями в непрерывном процессе становления. Таким образом, очерк о Шарлотте Корде не столько показывает читателям несовершенные модели женственности, ошибки героинь и ограничения их ситуаций, сколько обозначает возможные стратегии изобретения себя, основанные на вдумчивом, избирательном и эмпатическом чтении. Сам текст оказывается в каком-то смысле незавершенным, так как поиск не обретенного в нем идеала может и должен продолжиться в жизни, которая, в свою очередь, может обратиться в прецедентный текст.

* * *

Как представляется, очерк «Молодость Шарлотты Корде» может служить яркой иллюстрацией задач «Модного магазина», конструировавшего свою аудиторию как «взрослую» — сознательную, социально и политически ангажированную — и в то же время нуждающуюся в руководстве. В более общем смысле можно говорить о попытке изобрести новую конструкцию женственности, которая отвечала бы характеризовавшим эпоху реформ запросам на изменение общественного положения женщин и в то же время не слишком отклонялась бы от сложившихся норм.

Поиск идеалов женственности был укоренен в специфическом понимании исторического процесса, характеризовавшем этот период. Сама мотивировка изменений связывалась с представлениями о прогрессивном развитии человечества, требовавшем расширения гражданских прав и свобод, политического представительства интересов различных групп, распространения образования и массового доступа к благам цивилизации. Такая логика хода истории прослеживается даже в публикациях о моде, акцентировавших текущую демократизацию потребления в противовес элитизму прошлого.

В силу тематики журнала, но также и роли института моды в формировании облика современной эпохи и присущих ей способов чувствования, именно мода в значительной степени задавала параметры восприятия времени, включая историческое прошлое. Искушенность в моде предполагала наличие знаний о фасонах прежних эпох и способность соотнести их с последними тенденциями, проследить эволюцию элементов костюма и разглядеть в образах настоящего частичное возвращение отживших форм. Постоянная смена модных трендов делала их важным инструментом датировки исторических периодов — в том числе и текущего момента, неизбежное «устаревание» которого подсказывалось логикой моды, что позволяло взглянуть на него ретроспективно. В этом контексте начинали наделяться исторической значимостью мельчайшие приметы повседневной жизни, позволявшие реконструировать социально-психологический портрет эпохи — историю ее «нравов».

Представление о линейном, эволюционном развитии моды парадоксальным образом уживалось с идеей модных циклов, ставившей под сомнение возможность движения вперед и тем самым косвенно проблематизировавшей прогрессистские чаяния эпохи. В то же время, подобно явлению «старого» под видом «нового» в модных фасонах, современная женщина мыслилась ав-

торами и редактором «Модного магазина» преимущественно во вполне традиционных категориях, связанных с эстетическим вкусом и чувствительностью, — несмотря на отдельные довольно радикальные заявления о роли женщин, звучавшие со страниц журнала. Как поистине новый тип выводилась на сцену фигура эмансипе, подвергаемая при этом жестокой критике и осмеянию и призванная продемонстрировать моральный упадок современности.

Ощущение нестабильности, связанное с восприятием настоящего как переломного момента, многократно усиливало значение прошлого в качестве образца. Однако в контексте обсуждения «женского вопроса» обращение к истории подразумевало скорее критический взгляд на минувшие эпохи, мрачное наследие которых предположительно было отчасти преодолено, отчасти же продолжало являть себя в современности, в частности в зависимом статусе женщин и характеризующем их невежестве. Итак, былое представало перед читательницами «Модного магазина» в первую очередь в качестве негативного образца, и фигуры выдающихся женщин прошлого могли лишь частично послужить им ролевой моделью в силу ограничений своего положения.

А. Л. Зорин отмечает о поколении 1860-х годов: «Молодые люди, выходившие в ту пору на историческую арену, сколь бы скептически они ни были настроены к своим предшественникам, в значительной степени сохраняли ориентацию на литературу как на источник символических моделей чувства» [Зорин 2016: 511]. В «Модном магазине» первых лет его существования можно увидеть несколько настороженное отношение к романам как к типично женскому чтению, развивающему пагубную «привычку грезить». В то же время функция прецедентного текста, способного структурировать индивидуальную биографию и жизненный мир, отчасти переходит от поэзии и прозы к историческим сочинениям. В них также появляется фигура читающего героя, с которой могли непосредственно соотнести себя читатели, выверяя свои эмоциональные реакции и обучаясь сопереживанию — что было особенно важно в свете нормативных конструкций женственности. В то же время историческая дистанция позволяла сохранять условное равновесие между вовлеченностью и отстраненностью, конституируя образец, одновременно освященный традицией и нуждающийся в преодолении. В ситуации неопределенности, обусловленной масштабными общественно-политическими преобразованиями начала 1860-х годов, прошлое должно было стать предметом согласия, основанного в значительной степени на эмоциональном консенсусе, и одновременно — отправной точкой для осмысления современности и формирования ее облика.

Источники

Де Паруа 1862 — *Де Паруа С.* Грезы // Модный магазин. 1862. № 4. С. 82–86.

Журдан 1862 — *Журдан Л.* Женщины // Модный магазин. 1862. № 1. С. 6–12.

Иванов 1862a — *Иванов Н.* Женщина о женщинах // Модный магазин. 1862. № 17. С. 366–382.

Иванов 1862b — *Иванов Н.* Женщина о женщинах (Продолжение) // Модный магазин. 1862. № 21. С. 468–482.

К-ий 1862a — *К-ий В.* Где что делается // Модный магазин. 1862. № 21. С. 482–485.

К-ий 1862b — *К-ий В.* Где что делается // Модный магазин. 1862. № 22. С. 506–507.

К-ий 1862c — *К-ий В.* Где что делается // Модный магазин. 1862. № 23. С. 526–528.

Кремень 1862 — *Кремень В*. Колыбельные песни // Модный магазин. 1862. № 16. С. 335–337.

Мей 1862a — *Мей С. Г*. Моды // Модный магазин. 1862. № 1. С. 18–20.

Мей 1862b — *Мей С. Г*. Эманципация женщин // Модный магазин. 1862. № 8. С. 160–162.

Мей 1862c — *Мей С. Г*. Ответы редакции // Модный магазин. 1862. № 18. С. 395.

Мей 1862d — *Мей С. Г.* Объявление об издании «Модного магазина» в 1863 году // Модный магазин. 1862. № 23. Без пагинации.

Мей 1864a — *Мей С. Г*. Моды // Модный магазин. 1864. № 10. С. 155–158.

Мей 1864b — *Мей С. Г*. Моды // Модный магазин. 1864. № 12. С. 186–190.

Перье 1863 — *Перье К*. Молодость Шарлотты Кордэ // Модный магазин. 1863. № 5. С. 57–60.

Рыцарь 1862 — Рыцарь стеклышка и плэда. У камина // Модный магазин. 1862. № 3. С. 63–65.

Сонова 1864 — *Сонова Л*. Женщины в Риме (Из времен империи) // Модный магазин. 1864. № 11. С. 161–166.

Теперь 1862 — Теперь и прежде // Модный магазин. 1862. № 22. С. 504–506.

Худяков 1863 — *Худяков И*. Женщина допетровской Руси (Три исторических очерка): В народной поэзии // Модный магазин. 1863. № 20. С. 236–240.

Z. 1862 — *Z.* Вести из Парижа // Модный магазин. 1862. № 3. С. 66–67.

Barbey D'Aurevilly 1845 — *Barbey D'Aurevilly J*. Du dandysme et de George Brummell. Цит. по электрон. версии. URL: https://fr.wikisource.org/wiki/Du_Dandysme_et_de_George_Brummell.

Jourdan 1863 — *Jourdan L*. Les femmes devant l'échafaud. Paris: Michel Levy, 1863.

Литература

Батлер 2011 — *Батлер Дж.* Гендерное регулирование // Неприкосновенный запас. 2011. № 2 (76). Цит. по электрон. версии. URL: http://www.nlobooks.ru/node/2458.

Бордэриу 2016 — *Бордэриу К*. Платье императрицы: Екатерина II и европейский костюм в Российской империи. М.: Нов. лит. обозрение, 2016.

Борхес 1992 — *Борхес Х. Л*. Скрытая магия в «Дон Кихоте» // Борхес Х. Л. Коллекция: Рассказы; Эссе; Стихотворения. СПб.: Северо-Запад, 1992. С. 346–349.

Веблен 1984 — *Веблен Т*. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984.

Зорин 2016 — *Зорин А. Л*. Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века. М.: Нов. лит. обозрение, 2016.

Козеллек 2004 — *Козеллек Р.* Можем ли мы распоряжаться историей? // Отечественные записки. 2004. № 5 (20). Цит. по электрон. версии. URL: http://www.strana-oz.ru/2004/5/mozhem-li-my-rasporyazhatsya-istoriey-iz-knigi-proshedshee-budushchee-k-voprosu-o-semantike-istoricheskogo-vremeni.

Холландер 2015 — *Холландер Э*. Взгляд сквозь одежду. М.: Нов. лит. обозрение, 2015.

Элиас 2001 — *Элиас Н.* О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования: В 2 т. Т. 1: Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. М.; СПб.: Университетская книга, 2001.

Marks 2001 — *Marks C. R*. "Providing amusement for the ladies": The rise of the Russian women's magazine in the 1880s // An improper profession: Women, gender and journalism in late Imperial Russia / Ed. by B. T. Norton, J. M. Gheith. Durham; London: Duke Univ. Press, 2001. P. 93–119.

Fashionable history: Writing the past in *Modnyi Magazin*

Gusarova, Ksenia O.
PhD (Candidate of Science in Cultural Studies)
Senior Researcher,
Institute for the Advanced Studies in the Humanities,
Russian State University for the Humanities
Russia, GSP-3, 125993, Moscow, Miusskaya sq., 6
Tel.: +7 (499) 250-66-68
Associate Professor, Department of Cultural Studies
and Social Communication,
The Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration.
Russia, 119571, Moscow, Prospect Vernadskogo, 82
Tel.: +7 (499) 956-99-99
E-mail: kgusarova@gmail.com

Abstract. The article examines representation of time and historical events in *Modnyi Magazin* (Fashionable Journal) — a highly popular women's magazine established in 1862, shortly after the abolition of serfdom in the Russian Empire. The materials under consideration here, besides memoirs and essays directly addressing historical topics, include texts of diverse genres, from the editor's perennial fashion column to pieces of polemical journalism dedicated to "the woman question". Inspired by liberal reforms of the beginning of Alexander II's reign, the editorial team and the authors of *Modnyi Magazin* promoted the notion of women's rights, whose extension was described as a necessary stage of historical progress. At the same time, radical proponents of women's emancipation were treated in the journal with suspicion due to the supposed lack of femininity evident in their rejection of fashion and good taste. Apart from being a staple of womanliness, fashion played a key role in defining historical sensibilities of the era: it helped visualize a linear timeline along which various events and personalities could be located, while also contributing to valorization of change. The article shows how the authors of *Modnyi Magazin* used the past to negotiate the notion of proper femininity, simultaneously carving out a place for women in history. The woman called to inhabit this place was pictured as a reader: the magazine's audience was invited to identify with female historical characters shown poring over historical books and to appropriate their model emotional responses.

Keywords: historical imagination, *Modnyi Magazin*, women's reading, the woman question, constructions of gender, fashion discourse, 1860s in Russia

References

Batler, Dzh. (2011). Gendernoe regulirovanie [Trans. from Butler, J. (2004). Gender regulations. In J. Butler. *Undoing gender*. New York; London: Routledge]. *Neprikosnovennyi zapas* [NZ: Debates on politics and culture]*, 2011*(2). Retrieved from http://www.nlobooks.ru/node/2458. (In Russian).

Borderiu, K. (2016). *Plat'e imperatritsy: Ekaterina II i evropeiskii kostium v Rossiiskoi imperii* [The empress's clothes: Catherine II and European dress in the Russian Empire]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian).

Borkhes, Kh. L. (1992). Skrytaia magiia v "Don Kikhote" [Trans. from Borges, J. L. (1974). Magias parciales del Quijote. In J. L. Borges. *Obras completas 1923–1972*, 667–669. Buenos Aires: Emecé editores]. In Kh. L. Borkhes. *Kollektsiia: Rasskazy; Esse; Stikhotvoreniia* [Collection: Stories. Essays. Poems], 346–349. St. Petersburg: Severo-Zapad. (In Russian).

Elias, N. (2001). *O protsesse tsivilizatsii: Sotsiogeneticheskie i psikhogeneticheskie issledovaniia.* (Vol. 1), *Izmeneniia v povedenii vysshego sloia mirian v stranakh Zapada* [Trans. from Elias, N. (1939). *Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen* (Vol. 1), *Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes*. Basel: Verlag Haus zum Falken]. Moscow; St. Petersburg: Universitetskaia kniga. (In Russian).

Khollander, E. (2015). *Vzgliad skvoz' odezhdu* [Trans. from Hollander, A. (1993). *Seeing through clothes*. Berkeley: Univ. of California Press]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian).

Kozellek, R. (2004). Mozhem li my rasporiazhat'sia istoriei? [Trans. from Koselleck, R. (1979). Uber die Verfugbarkeit der Geschichte. In R. Koselleck. *Vergangene Zukunft: zur Semantik geschichtlicher Zeiten* (3rd ed.), 260–277. Frankfurt am Main: Suhrkamp]. *Otechestvennye zapiski* [Annals of the Fatherland]*, 2004*(5). Retrieved from http://www.strana-oz.ru/2004/5/mozhem-li-my-rasporyazhatsya-istoriey-iz-knigi-proshedshee-budushchee-k-voprosu-o-semantike-istoricheskogo-vremeni. (In Russian).

Marks, C. R. (2001). "Providing amusement for the ladies": The rise of the Russian women's magazine in the 1880s. In B. T. Norton, J. M. Gheith (Eds.). *An improper profession: Women, gender and journalism in late Imperial Russia*, 93–119. Durham; London: Duke Univ. Press.

Veblen, T. (1984). *Teoriia prazdnogo klassa* [Trans. from Veblen, Th. (1912). *The theory of the leisure class: An economic study of institutions*. New York: Macmillan]. Moscow: Progress. (In Russian).

Zorin, A. L. (2016). *Poiavlenie geroia: Iz istorii russkoi emotsional'noi kul'tury kontsa XVIII — nachala XIX veka* [The emergence of a hero: A history of Russian emotional culture of the late 18th — early 19th century]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian).

To cite this article:

Gusarova, K. O. (2018). Moda na istoriiu: proshloe na stranitsakh "Modnogo magazina" [Fashionable history: Writing the past in *Modnyi Magazin*]. *Shagi / Steps, 4*(3), 166–194. (In Russian).

Received May 3, 2018